

Виктор Некрасов. Дом Турбиных

Журнал "Новый Мир" No 8, 1967 год, стр. 132-142

"...Буль-буль-буль, бутылочка
казенного вина!!.
Бескозырки тонные,
сапоги фасонные, --
то юнкера-гвардейцы идут..."

И в это время гаснет электричество. Николка и его гитара умолкают. "Черт знает что такое, -- говорит Алексей, -- каждую минуту тухнет. Леночка, дай, пожалуйста, свечи". И входит Елена со свечой, и где-то очень далеко раздается пушечный выстрел. "Как близко, -- говорит Николка. -- Впечатление такое, будто бы под Святошином стреляют..."

Николке Турбину семнадцать с половиною. Мне тоже семнадцать с половиною. Правда, у него на плечах унтер-офицерские погоны и трехцветные шевроны на рукавах, а я просто-напросто учусь в советской железнодорожной профшколе, но все же обоим нам по семнадцать с половиною. И говорит он о Святошине, нашем киевском Святошине, и свет у нас тоже так вот гас, и так же доносилась откуда-то канонада...

Бухало, целыми днями бухало. И где-то стреляли. И по ночам зачем-то били в рельс. Кто-то приходил, кто-то уходил. Потом, когда становилось тихо, нас водили в Николаевский парк перед университетом, и там было всегда полно солдат. Сейчас почему-то их совсем нет, парк стал пенсионерски-доминошным, а тогда на всех скамейках сидели солдаты. Разные -- немцы, петлюровцы, в двадцатом году поляки в светло-гороховых английских шинелях. Мы бегали от скамейки к скамейке и спрашивали у немцев: "Вифиль ист ди ур?" И солдаты смеялись, показывали нам часы, давали конфетки, сажали на колени. Очень они нам нравились. А вот белогвардейцы, или, как их тогда называли, "добровольцы", нет. Два истукана-часовых стояли на ступеньках у входа в особняк Терещенко, где расположился штаб генерала Драгомирова, и мы бросали в них камешками, а они хоть бы что, дураки, стояли, как пни...

Каждый раз вспоминаю я их, этих истуканов, проходя мимо дома на углу Кузнечной и Караваевской, где обосновался после генеральского штаба прозаический Рентгеновский институт...

...Электричество зажигается. Гасят свечи. (У нас тоже зажигалось, но гасили не свечи, а коптилки; где Турбины доставали свечи -- ума не приложу, они были на вес золота.) Тальберга все еще нет. Елена беспокоится. Звонок. Появляется замерзший Мышлаевский. "Осторожно вешай, Никол. В кармане бутылка водки. Не разбей..."

Сколько раз я видел "Дни Турбиных"? Три, четыре, может, даже и пять. Я рос, а Николке все оставалось семнадцать. Сидя, поджав колени, на ступенях мхатовского балкона первого яруса, я по-прежнему чувствовал себя его ровесником. А Алексей Турбин всегда оставался для меня "взрослым", намного старшим меня, хотя, когда я в последний раз, перед войной, смотрел "Турбиных", мы были ровесниками уже с Алексеем.

Режиссер Сахновский писал где-то, что для нового поколения Художественного театра "Турбины" стали новой "Чайкой". Думаю, что это действительно так. Но это для артистов, для МХАТа, -- для меня же, сначала мальчишки-профшкольника, потом постепенно взрослеющего студента, "Турбины" были не просто спектаклем, а чем-то гораздо большим. Даже когда я стал уже актером, интересующимся чисто профессиональной стороной дела, даже тогда "Турбины" были для меня не театром, не пьесой, пусть даже очень талантливой и привлекательно-загадочной своим одиночеством на сцене, а осязаемым куском жизни, отдаляющимся и отдаляющимся, но всегда очень близким.

Почему? Ведь в жизни своей я не знал ни одного белогвардейца (впервые

столкнулся с ними в Праге в 1945 году), семья моя отнюдь их не жаловала (в квартире нашей перебивали жильцами-реквизиторами и немцы, и французы, и два очень полюбившихся мне красноармейца, пахнувших махоркой и портянками, но ни одного белого), да и вообще родители мои были из "левых", друживших за границей с эмигрантами -- Плехановым, Луначарским, Ногинным... Ни Мышлаевских, ни Шервинских никогда в нашем доме не было. Но что-то другое, что-то "тур-бинское", очевидно, было. Мне трудно объяснить даже что. В нашей семье я был единственным мужчиной (мама, бабушка, тетка и я -- семилетний), и никаких гитар у нас не было, и вино не лилось рекой, даже ручейком, и общего с Турбинами у нас как будто ничего не было. Если не считать соседа осетина Алибека, который появлялся иногда у нас в гостиной весь в кавказских газырях (Шервинский?!) и, когда я малость подрос, все спрашивал, не купит ли кто-нибудь из моих школьных товарищей его кинжал -- он любил пропустить рюмочку. А вот что-то общее все же было. Дух? Прошлое? Может быть, вещи?

"...Мебель старого красного бархата... потертые ковры... бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкафы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовой, Капитанской дочкой, золоченые чашки, портреты, портьеры..."

Одним словом, Турбины вошли в мою жизнь. Вошли прочно и навсегда. Сначала пьесой, МХАТом, потом и романом, "Белой гвардией". Написан он был раньше пьесы -- за год, за два, но попал мне в руки где-то в начале тридцатых годов. И укрепил дружбу. Обрадовал "воскрешением" Алексея, "убитого" Булгаковым, правда, после, но для меня до романа. Расширил круг действия. Ввел новых лиц. Полковника Малышева, отважного Най-Турса, таинственную Юлию, домовладельца Василису с костлявой и ревнивой Вандой -- женой его. На сцене МХАТа была уютная, обжитая, такая же симпатичная, как и населяющие ее люди, квартира с умилявшими до слез Лариосика кремовыми занавесками, в романе же ожил весь "город прекрасный, город счастливый, мать городов русских", занесенный снегом, таинственный и тревожный в этот страшный "год по рождестве Христовом 1918, от начала же революция второй".

Для нас, киевлян, все это было особенно дорого. До Булгакова русская литература как-то обходила Киев -- разве что Куприн, да и то очень уж довоенный. А тут все близко, рядом -- знакомые улицы, перекрестки. Святой Владимир на Владимирской горке с сияющим белым крестом в руках (увы, этого сияния я уже не помню), который был "виден далеко, и часто летом, в черной мгле, в путаных заводях и изгибах старика-реки, из ивняка, лодки видели его и находили по его свету водяной путь на Город, к его пристаням".

Не знаю, как для кого, но для меня очень важна всегда "география" самого произведения. Важно знать, где жили -- точно! -- Раскольников, процентщица. Где жили герои вересаевского "В тупике", где в Коктебеле был их белый домик с черепичной крышей и зелеными ставнями. Я был сперва разочарован (уж очень привык к этой мысли), а потом обрадован, узнав, что Ростовы никогда не жили на Поварской именно в том доме, где сейчас Союз писателей (тут жила Наташа, а теперь отдел кадров или бухгалтерия...). Причем важно было, где жили и действовали герои, не автор, а именно герои. Они всегда (сейчас, может быть, в меньшей степени) были важнее придумавшего их автора. Впрочем, Растинька и до сих пор для меня "живее" Бальзака, как и д'Артаньян -- старика Дюма.

А Турбины? Где они жили? До этого года (точнее, до апреля этого года, когда я вторично через тридцать лет прочел "Белую гвардию") я помнил только, что жили они на Алексеевском спуске. В Киеве такой улицы нет, есть Андреевский спуск. По каким-то ведомым только одному Булгакову причинам он, автор, сохранив действительные названия всех киевских улиц (Крещатик, Владимирская, Царский сад, Владимирская горка), две из них, наиболее тесно "привязанных" к самим Турбиным, -- переименовал. Андреевский спуск на Алексеевский, а Мало-Подвальную (там, где Юлия спасает раненого Алексея) на Мало-Провальную. Зачем это сделано -- остается тайной, но так или иначе нетрудно было догадаться, что жили Турбины на Андреевском спуске. Помнил я и то, что жили они в двухэтажном доме под горой, на втором этаже, а на первом жил домовладелец Василиса. Вот и все, что я помнил.

Андреевский спуск -- одна из самых "киевских" улиц города. Очень крутая, выложенная булыжником (где его сейчас найдешь?), извиваясь в виде громадного "S", она ведет из Старого города в нижнюю его часть -- Подол. Вверху Андреевская церковь -- Растрелли, XVIII век, -- внизу Контрактовая

площадь (когда-то там но веснам проводилась ярмарка -- контракты, -- я еще помню моченые яблоки, вафли, масса народу). Вся улица -- маленькие, уютные домики. И только два или три больших. Один из них я хорошо знаю с детства. Он назывался у нас Замок Ричарда Львиное Сердце. Из желтого киевского кирпича, семиэтажный, "под готику", с угловой остроконечной башней. Он виден издали и со многих мест. Если войти в низкую, давящую дворовую арку (в Киеве это называется "подворотня"), попадаешь в тесный каменный двор, от которого у нас, детей, захватывало дух. Средневековье... Какие-то арки, своды, подпорные стены, каменные лестницы в толще стены, висят железные, какие-то ходы, переходы, громадные балконы, зубцы на стенах... Не хватало только стражи, поставившей в угол свои алебарды и дующей где-нибудь на бочке в кости. Но это еще не все. Если подняться по каменной, с амбразурами лестнице наверх, попадаешь на горку, восхитительную горку, заросшую буйной дерезой, горку, с которой открывается такой вид на Подол, на Днепр и Заднепровье, что впервые попавших сюда никак уж не прогонишь. А внизу, под крутой этой горкой, десятки прилепившихся к ней домиков, дворики с сарайчиками, голубятнями, развешанным бельем. Я не знаю, о чем думают киевские художники, -- на их месте я с этой горки не слезал бы...

Вот такой вот есть Андреевский спуск. Есть и был. На нем ни одного нового дома. Таким -- с крупной булыгой, с зарослями дерезы на откосах, с двумя-тремя неизвестно как и для чего посаженными немисливо кривыми, валяющимися прямо на улицу американскими кленами, с маленькими своими домиками, -- таким он был десять, двадцать, тридцать лет тому назад, таким он был и в зиму 1918 года, когда "Город жил странно, неестественно жизнью, которая, очень возможно, уже не повторится в двадцатом столетии..."

Где же на этом самом Андреевском спуске жили Турбины? Не знаю точно почему, но я убедил себя, а потом стал убеждать и друзей, которых водил на ту самую горку, что жили они в маленьком домике, прилепившемся к Замок Ричарда. У него веранда, симпатичная калитка в глухом заборе, садик, перед входом один из этих кривулук-кленов. Ну, конечно же, они могли жить только тут. И жили. "Я вам это точно говорю..."

Но оказалось, что я жестоко ошибался.

И вот тут-то начинается самое интересное. До сих пор была, так сказать, присказка, сейчас же я приступаю к сказке.

Настал 1965 год.

Стоит ли говорить о том счастье, которое пережили все мы, прочитав впервые появившиеся в печати "Театральный роман", а год спустя "Мастера и Маргариту". Через двадцать пять лет после смерти писателя мы познакомились с неведомыми нам до сих пор страницами булгаковской прозы. И были поражены. Обрадованы и поражены, о чем тут говорить. Но еще более обрадовала и поразила (меня во всяком случае) вторичная встреча с "Белой гвардией". Ничто, оказывается, не померкло, ничто не устарело. Как будто и не было этих сорока лет. Я с трудом заставлял себя отрывать от романа и делал это насильно, чтоб продлить удовольствие. На наших глазах произошло некое чудо, в литературе случавшееся очень редко и далеко не со всеми, -- произошло второе рождение.

Кстати, с "Днями Турбиных" до сих пор этого не произошло. Послевоенная постановка пьесы в театре Станиславского особой радости никому не доставила. Может быть, потому, что после Хмелева, Добронравова, Кудрявцева (подумать только, никого из них уже нет в живых!), после молодого, тоненького Яншина -- Лариосика, после Тарасовой и Еланской создать что-нибудь новое и яркое очень трудно. А может, и потому, что не все произведения искусства можно копировать, а родить новый оригинал не так-то просто. Я с тревогой (надеждой, ни больше с тревогой) жду новой постановки во МХАТе. Ходить или не ходить? Не знаю. Боюсь... Всего боюсь: юношеских воспоминаний, сравнений, параллелей... Да, боюсь я за "Турбиных", боюсь за пьесу...

А вот роман обезоружил. Живой, живой, совсем живой... Ни одной морщинки, ни одного седого волоса. Выжил, пережил и победил! Но я отвлекся. Вернемся к географии. Где же жили Турбины? Оказывается, автор не делает из этого никакого секрета. Буквально на второй странице романа указан точный адрес: Алексеевский (читай Андреевский) спуск, No 13.

"Много лет до смерти (матери), в доме No 13 по Алексеевскому спуску, изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку". Ясно и точно. Как же я этого не

запомнил? Не запомнил, и все...

Итак, Андреевский спуск, Но 13...

Самое забавное -- оказывается, у меня есть даже снимок этого дома, хотя, снимая его, я и понятия не имел о его значении и месте в русской литературе. Просто понравился этот уголок Киева (в свое время я увлекался фотографией, пейзажами Киева в частности), и точка, которую я нашел, взобравшись на одну из многочисленных киевских гор, была очень эффектна. Андреевская церковь, Замок Ричарда, горка, сады, вдали Днепр, а внизу -- крутая излучина Андреевского спуска и прямо посередине под горкой дом Турбиных. Кстати, и с этой самой горки, вернее горы, той самой, о которой я уже говорил, дворик дома виден очень хорошо. Самый уютный и привлекательный, с голубятней, с верандочкой -- я его сотни раз показывал друзьям, хвастаясь киевскими красотами.

Я, конечно, побывал в нем, в этом домике. Даже дважды. Первый раз мимоходом, несколько минут, в основном чтоб уточнить, действительно ли это он или нет, второй раз подольше.

В романе дан совершенно точный его портрет. "Над двухэтажным домом Но 13, постройки изумительной (на улицу квартира Турбиных была во втором этаже, а в маленький, покатый, уютный дворик -- в первом), в саду, что лепился под крутейшей горой, все ветки на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору замело, засыпало сарайчики во дворе -- и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыло шапкой белого генерала, и в нижнем этаже (на улицу -- первый, во двор под верандой Турбиных -- подвальный) засветился слабенькими желтенькими огнями... Василий Иванович Лисович, а в верхнем -- сильно и весело загорелись турбинские окна".

Ничто с тех пор не изменилось. И дом, и дворик, и сарайчики, и веранда, и лестница под верандой, ведущая в квартиру Василисы (Вас. Лис.) -- Василия Ивановича Лисовича -- на улицу первый этаж, во двор -- подвал. Вот только сад исчез -- одни сарайчики.

Первый мой визит, повторяю, был краток. Я был с матерью и приятелем, приехали мы на его машине, и времени у нас было в обрез. Войдя во двор, я робко позвонил в левую из двух ведущих на веранду дверей и у открывшей ее немолодой дамы-блондинки спросил, не жили ли здесь когда-нибудь люди по фамилии Турбины. Или Булгаковы.

Дама несколько удивленно посмотрела на меня и сказала, что да, жили, очень давно, вот именно здесь, а почему меня это интересует? Я сказал, что Булгаков -- знаменитый русский писатель, и что все, связанное с ним...

На лице дамы выразилось еще большее изумление.

-- Как? Мишка Булгаков -- знаменитый писатель? Этот бездарный венеролог -- знаменитый русский писатель?

Тогда я обомлел, впоследствии же понял, что даму поразило не то, что бездарный венеролог стал писателем (это она знала), а то, что стал знаменитым...

Но выяснилось это уже после второго визита. На этот раз нас пришло только двое и времени у нас было сколько угодно.

На наш звонок из глубины квартиры раздался молодой женский голос:

-- Мама, какие-то дядьки...

Мама -- та самая немолодая дама-блондинка -- вышла и после крохотной вспоминающе-оценивающей паузы -- меня, по-моему, она сначала не узнала -- любезно сказала:

-- Пожалуйста, заходите. Вот сюда, в гостиную. У них это была гостиная. А это -- столовая. Пришлось перегородить, как видите...

Бывшая столовая, судя по лепным тягам на потолке, была когда-то очень большой и, очевидно, уютной, сейчас же она превратилась в прихожую и одновременно кухню: справа у стенки красовалась газовая плита.

Мы вошли в гостиную, хозяйка извинилась, что не прерывает работы -- она гладила, правда, не очень усердно, тюлевые гардины на длинной гладильной доске, -- и пригласила нас сесть.

Обстановка в гостиной оказалась отнюдь не турбинской. И не булгаковской. На трех окнах, выходящих на улицу, на противоположную горку с начавшей уже зеленеть травой, -- раздвижные в пол-окна занавесочки, на подоконнике цветы -- лиловый сон в вазочках. Все остальное -- как у всех теперь -- только киевский вариант: львовский "модерн" начала пятидесятых годов в сочетании с так называемой "боженковской" мебелью. (Герой

гражданской войны, соратник Щорса, Боженко, увы, ассоциируется сейчас у большинства киевлян с посредственной мебелью фабрики, носящей его имя.) На стене что-то японское на черном лаке (цапли, что ли?), возле дверей--сияющее, под орех пианино.

Мы сели. Хозяйка полюбопытствовала, что нас интересует. Мы сказали, что все, касающееся жизни Михаила Афанасьевича Булгакова в этой квартире.

Из последующего рассказа, прерываемого то приходом молчаливого мужа, что-то искавшего в шкафу, то вторжением тут же изгоняемых внуков ("Идите, идите, нечего вам слушать"), мы узнали, что семья Булгаковых была большая: отец -- профессор богословия, умерший, по-видимому, еще до революции, мать -- очень хозяйственная, любившая порядок, и семеро детей -- три брата, из которых Михаил был старший, и четыре сестры. Прожили они в этой квартире больше двадцати лет и в 1920 году уехали. Больше никто никогда сюда не возвращался. Михаил в том числе. Семья была патриархальная, с определенными устоями. Со смертью отца все изменилось. Мать, насколько мы поняли, отделилась: "там наверху, против Андреевской церкви, жил один врач, очень приличный человек, он недавно умер в преклонном возрасте в Алма-Ате", и с тех пор в доме воцарилась безалаберщина.

-- Очень они были веселые и шумные. И всегда уйма народу. Пели, пили, говорили всегда разом, стараясь друг друга перекричать... Самой веселой была вторая Мишина сестра. Старшая посерьезнее, поспокойнее, замужем была за офицером. Фамилия его что-то вроде Краубе -- немец по происхождению. -- (Так, поняли мы, -- Тальберг...) -- Их потом выслали, и обоих уже нет в живых. А вторая сестра -- Варя -- была на редкость веселой: хорошо пела, играла на гитаре... А когда подымался слишком уже невообразимый шум, влезала на стул и писала на печке: "Тихо!"

-- На этой печке? -- Мы разом обернулись, посмотрели в угол и невольно вспомнили надписи, которые на ней когда-то были. Последняя Николкина: "Я таки приказываю посторонних вещей на печке не писать под угрозой расстрела всякого товарища... Комиссар Подольского райкома. Дамский, мужской и женский портной Абрам Пружинер. 1918 года, 30 января".

-- Нет, -- сказала хозяйка, -- в столовой. Будете уходить, я вам покажу.

Дальше пошел рассказ о самом Мише. Начался он почему-то с зубов. У него были очень крупные зубы. ("Да-да, -- подтвердил присевший в углу на стул хозяйкин муж, -- у него были очень крупные зубы". Это была первая из двух произнесенных им за все время фраз.) А вообще Миша был высокий, светлоглазый, блондин. Все время откидывал волосы назад. Вот так -- головой. И очень быстро ходил. Нет, дружить не дружили, он был значительно старше, лет на двенадцать. Дружила с самой младшей сестрой Лелей. Но Мишу помнит хорошо, очень хорошо. И характер его -- насмешливый, ироничный, язвительный. Не легкий, в общем. Однажды даже отца ее обидел. И совершенно незаслуженно.

-- У Миши там вот кабинет был.-- Хозяйка указала на стенку перед собой.-- Больных принимал, люэтиков своих. Вы ж, очевидно, знаете, что он переквалифицировался на венеролога. Так вот, у него всегда там почему-то краны были открыты. И все переливалось через край. И протекало. И все на наши головы... Мы переглянулись. -- Вы что, на первом этаже жили?

-- На первом. И все, понимаете, на наши головы. Чуть потолок не рухнул. Тогда отец мой, человек очень приличный, образованный и все-таки хозяин дома -- квартиру-то они у нас снимали -- (мы опять переглянулись...), -- подымается наверх и говорит: "Миша, надо все-таки как-то следить за кранами, у нас внизу совсем потоп..." А Миша ответил ему так грубо, так грубо...

Но как именно ответил Миша, мы так и не узнали, в разговор вмешалась появившаяся вдруг из коридора очень золото- и пышноволосая, расчесывающая свои кудри хозяйкина дочка.

-- Ну зачем, мама, все эти детали?

Мать несколько смутилась, хотя тут же сказала, что ничего дурного в этих деталях не видит, просто одна из черточек Мишиного характера, а мы в третий раз переглянулись.

-- Так вы, значит, на первом этаже жили? Который во двор подвалом выходит?

-- Ну да. Поэтому на нас и лилось.

Все стало ясно. Первый этаж, домовладелец... Абсолютно ясно. Мы имели дело ни больше, ни меньше, как с дочерью Василисы, хозяина дома Василия

Ивановича Лисовича...

Одно, правда, несколько удивило нас (все это уже потом, на обратном пути, перебивая друг друга, пытаясь во всем разобраться), -- когда кто-то из нас в самом еще начале разговора упомянул имя Василисы, хозяйка наша и бровью не повела, как будто и имени такого не слыхала.

Последующий кропотливый анализ посеял в нас сомнение: а читала ли нынешняя владелица булгаковской квартиры "Белую гвардию"? "Дни Турбиных", очевидно, видела, когда перед самой войной МХАТ приезжал в Киев (сын во всяком случае видел: билеты достать было невозможно, но он сказал, что он внук хозяина дома, где жили Булгаковы, и ему сразу дали). Одним словом, будем считать, что с "Турбинами" она была знакома, но все дело в том, что в пьесе Василисы нет, он даже не упоминается. А в романе есть. Возможно, сам Василиса читал, но вряд ли ему так уж хотелось, чтоб прочитали дети...

-- Что и говорить, -- грустно улыбнулась хозяйка, перебирая тюлевые гардины, -- жили мы, как Монтекки и Капулетти... И вообще...

Дальше выяснилось, что не только как к жильцу, но и как к писателю у нее есть определенные претензии. Дело в том, что, когда в конце двадцатых или в начале тридцатых годов изымали золото, один из соседей -- вот там, через улицу жил, -- вспомнил, что в каком-то романе Миша писал о некоем домовладельце, у которого что-то там где-то хранилось; так вот, если оно действительно есть... Но его не было. Не было уже ничего... И все же как-то нехорошо получилось. Зачем так уж прямо?

Мы оба невольно посмотрели в окно: а где то дерево, та акация, с которой бандит-петлюровец подсматривал за Василисиними операциями с тайником в стене? Нет, обнаружить ее нам не удалось -- ни сейчас, ни потом. Все-таки сорок лет прошло. Зато ущелье между двумя домами, тринадцатым и одиннадцатым, куда Николка прятал исчезнувшую потом жестяную коробку из-под конфет с пистолетами, погонями и портретом наследника Алексея, -- нашли. И даже доски выломаны, как будто бандиты только сегодня или вчера вылезли из этого самого ущелья.

Сегодня? Вчера? Позавчера? Все как-то вдруг перепуталось, сдвинулось, переместилось...

Вот в этой самой комнате, где мы сейчас сидим, с тремя окнами на улицу, с таким же точно видом на противоположную горку, которая с тех пор ничуть не изменилась (исчезли только акации, темнившие гостиную), в этой самой тогда гостиной жил себе и расхаживал быстрым шагом высокий голубоглазый человек, откидывавший назад волосы, ироничный и язвительный, уехавший потом в Москву и никогда больше сюда не возвращавшийся... В этой самой гостиной, тогда розовой, с кремовыми занавесками, много-много лет назад в студеную декабрьскую ночь три офицера, один юнкер и нелепый, брошенный женой молодой человек из Житомира играли в винт, а в соседней комнате бредил тифозный, а внизу, на первом этаже, в это самое время петлюровцы чистили домовладельца, и потом он, бедняжка, прибежал сюда и упал в обморок, и его окатывали холодной водой...

В этой самой комнате, в этой квартире пахло когда-то на рождество хвоей, потрескивали парафиновые свечи, на белой крахмальной скатерти в вазе в виде колонны стояли гортензии и мрачные знойные розы, часы с бронзовыми пастушками каждые три часа играли гавот, и в столовой откликались им черные стенные, и на рояле лежали раскрытые ноты "Фауста", и пили здесь вино и водку, и пели эпिताму богу Гименею и кое-что другое, приводившее в ужас похожего на Тараса Бульбу домовладельца и его жену: "Что ж это такое? Три часа ночи! Я жаловаться наконец буду!"

И вот всего этого нету. Нет больше "книжной", нет сокола на белой рукавице Алексея Михайловича, нет Людовика XIV в райских кушах на берегу шелкового озера, нет бронзовых ламп под зеленым абажуром, и холодные, старательно вымытые (начал еще Николка) саардамские изразцы тоскливо смотрят на голубые огоньки и кастрюли газовой плиты. И нижний этаж переселился в верхний, и Василиса, по-видимому, умер (мы почему-то, растерявшись, ничего о нем не спросили), а в угловой Николкиной комнате (двадцать шесть метров, как сообщила нам хозяйка) живет златокудрая Василисина внучка...

А Николка?

Да, у Миши было два брата. Николай и Ваня. Николай -- старший, второй после Миши, спокойный, серьезный, самый серьезный из всех. Умер в январе этого года в Париже. Был профессором. Это кое-что да значит -- быть

профессором в Париже, да еще русскому эмигранту. Умница был. Тогда еще был умницей... А Ваня? Ваня тоже в Париже, но не профессор... В балалаечном ансамбле каком-то или как это у них там называется. Он самый младший был, вероятно, еще жив... Из сестер остались две, обе в Москве. Одна тяжело болеет, с другой, с Надей, изредка переписывается. Когда была в Москве, заходила к ней. Недавно где-то ее фотография была. На фоне Мишиной библиотеки. Сохранилась еще. А Миши вот нет...

Тут хозяйка, оторвавшись от утюга, испытующе и все же недоверчиво посмотрела на нас:

-- Так вы говорите, стал знаменитым?

-- Стал... Покачала головой.

-- Кто мог подумать? Ведь такой невезучий был... Надя, правда, недавно писала мне, что сейчас вот напечатали что-то его и все очень читают... Но ведь сколько лет прошло...

Опять ворвались дети -- мальчик и девочка. Их опять прогнали. Муж вяло поискал что-то в шкафу и опять сел, хотя ему надо было куда-то уходить. Дочь, продолжая расчесывать свои кудри, попыталась вступить в разговор -- почему мать ничего про Ланčia не рассказывает? Но мать, при всей своей словоохотливости, тут вдруг заартачилась -- ничего, мол, интересного нет. Дочь уверяла, что очень интересно, ей во всяком случае было очень интересно. Но мать проявила непонятную стойкость. Нам удалось только узнать, что Ланčia -- хозяин гостиницы "Европейская" на бывшей Царской площади (эта пояснительная фраза была второй и последней, произнесенной мужем хозяйки), -- имел в Буче дачу напротив булгаковской, и была у него там оранжерея... Вот и все, как видите, ничего интересного... Мы поняли, что интересное было, но сообщать нам какую-то существовавшую, очевидно, сложность в треугольнике Булгаковы -- Ланčia -- Василисы по каким-то причинам не хотят, -- и настаивать не стали.

Вообще, как выяснилось, мы с другом оказались никудышными репортерами. Не взяли с собой фотоаппарата, сидели как привязанные, я -- к креслу, друг -- к дивану, не побывали в других комнатах, ничего не узнали о судьбе Василисы... Впрочем, может быть, так и надо. В конце концов мы действительно не репортеры -- что узнали, то и узнали. А сфотографировать домик я всегда успею -- и снизу, и сбоку, и с горы, -- он еще долго проживет.

Вот и все.

Мы попрощались и ушли. Обещали зайти еще. Но вряд ли это нужно.

Сейчас меня интересует одно: прочтут или нет жильцы этого прилепившегося к горе домика о событиях, разыгравшихся в нем без малого пятьдесят лет назад?...1

Подымаясь вверх по Андреевскому спуску, взбудораженные и опечаленные, мы пытались подвести какой-то итог. Чему? Да так, всему. Прошлому, настоящему, несуществующему. Летом, в шестьдесят шестом, в Ялте мы читали опубликованные сейчас в журнале "Театр" воспоминания Ермолинского о Булгакове -- очень грустные, очень трагичные. Сейчас вот побывали в местах булгаковской молодости и пойдем еще в 1-ю гимназию (теперь там университет), на ступенях которой, в вестибюле, погиб (на сцене МХАТа) Алексей, зайдём в "гастроном" на Театральной, где был когда-то "Шик паризьен" мадам Анжу с колокольчиком на дверях, потом в который раз попытаемся разыскать дом на Мало-Провальной. За поворотом "самой фантастической улицы в мире" -- мшистая стена, калитка, кирпичная дорожка, еще калитка, еще одна, сиреневый сад в снегу, стеклянный фонарь старинных сеней, мирный свет сальной свечи в шандале, портрет с золотыми эполетами, Юлия... Юлия Александровна Рейсс... Нет ее. И дома этого нет. Я уже облазил всю Мало-Подвальную. Был когда-то похожий, в глубине двора, деревянный, с верандой и цветными стеклами, но его давно уже нет. На его месте новый, каменный, многоэтажный, нелепо чужой на этой горбатой, "самой фантастической в мире" улочке, а рядом телевизионная башня -- двести метров уходящего в небо железа... Мы поднимались вверх по Андреевскому спуску... Почему никогда больше не потянуло сюда Булгакова? Ни его, ни братьев, ни сестер? Впрочем, братьям это вряд ли удалось бы. Николай умер, похоронен где-то на парижском кладбище, Ваня же... А может, я его видел, может, даже познакомился? Я был в Париже в русском ресторане, недалеко от бульвара Сен-Мишель. Назывался он "У водки". И пили там действительно водку, что в других ресторанах не очень-то практикуется, и за соседним столиком подвыпившие пожилые люди пели "Вещего Олега" и "Скажи-ка,

дядя, ведь недаром...", а в углу на маленькой эстраде шестеро балалаечников в голубых, шелковых косоворотках в третий уже раз по заказу исполняли "Очи черные...". Я с ними разговаривал. Кроме одного, все были русскими. Фамилий своих они не называли. Все спрашивали, как им вернуться на родину... Может, среди них был и Ваня Булгаков, а для меня, для всех нас -- Николка Турбин? В восемнадцатом году гитара, "Буль-буль-буль, бутылочка", сейчас балалайка и "Очи черные"...

Ах, как хочется продолжить роман. По-детски хочется знать, что же было дальше, как сложилась судьба Турбиных после восемнадцатого года. Бег? Для Николки, очевидно, да. Для Мышлаевского -- не знаю. А Шервинский, Елена? А Алексей? Написал "Дни Турбиных" и "Белую гвардию"? Умер в сороковом году, не дождавшись триумфа, пришедшего через двадцать пять лет после смерти?

Как жалею я теперь, что не знаком был с Булгаковым. Как хотелось бы знать, что, где, как и почему рождалось.

В двадцать третьем году от тифа умерла его мать. И в двадцать третьем же году начата "Белая гвардия". И начинается она с похорон матери. "Мама, светлая, королева, где же ты?..."

Я перечитываю сейчас "Мастера и Маргариту", и теперь мне особенно понятно становится, почему и "откуда" взялся устроенный Маргаритой потоп в квартире Латунского.

И Максудов в "Театральном романе" пишет вовсе не "Черный снег", а "Белую гвардию"... "...вечер, горит лампа. Бахрома абажура. Ноты на рояле раскрыты. Играют "Фауста". Вдруг "Фауст" смолкает, но начинает играть гитара. Кто играет? Вон он выходит из двери с гитарой в руке..."

Николка... Опять Николка... Здравствуй, Николка, старый друг моей юности...

Вот и договорился -- другом моей юности, оказывается, был ни больше, ни меньше, как белый офицер, юнкер... А я и не отпираюсь. И его старший брат тоже. И сестра. И друг брата...

Да, я полюбил этих людей. Полюбил за честность, благородство, смелость, наконец за трагичность положения. Полюбил, как полюбили их сотни тысяч зрителей мхатовского спектакля². А среди них был и Сталин. Судя по протоколам театра, он смотрел "Дни Турбиных" не меньше пятнадцати раз! А вряд ли он был таким уж завзятым театралом...

В сорок первом году в Минске "турбинская квартира" сторела. И хотя через тринадцать лет она снова возникла из пепла, на этот раз не в одной, а в трех ипостасях (в Москве, Тбилиси и Новосибирске), для меня существовала только та, в декорациях (как не хочется произносить это слово!) художника Ульянова. Ее нет и никогда не будет. Так же, как никогда не будет больше Хмелева, Добронравова, Кудрявцева -- первых, кто заставил нас влюбиться в невыдуманных (а может, и выдуманных, на половину, на четверть выдуманных, черт, опять запутался!) героев Булгакова.

Знакомство наше состоялось давно -- сорок лет назад (кстати, нас отделяет сейчас от последнего мхатовского спектакля столько же времени, даже на три года больше, сколько этот же спектакль отделяло от изображенных в нем событий). Почему же через столько лет дружба наша не только не увяла (появились же и новые друзья), а, наоборот, окрепла? Почему я еще больше полюбил их, встретившись вновь?

Сначала я не мог дать точного ответа. Сейчас могу.

Я еще больше полюбил Турбиных, потому что они, именно они, первыми познакомили меня с Булгаковым.

Тогда, сорок лет назад, чего греха таить, Булгаков (и как писатель, и тем более как человек) меня интересовал куда меньше, чем его герои... Сейчас же, когда героев стало во много-много раз больше, и среди них даже черти и ведьмы, я мысленно возвращаюсь назад, к двадцать восьмому году, сажусь на ступеньки балкона первого яруса Московского Художественного театра и благодарю, благодарю Алексея, благодарю Елену, Николку, даже гетмана Скоропадского за то, что это они первыми сказали мне: "Булгаков Михаил Афанасьевич, драматург..."

Я не видал "Мольера", но читал "Жизнь господина де Мольера". У Булгакова не было "покровителей", не было принца де Конти и герцога Орлеанского, так же как не было у Мольера художественных руководителей, но оба они в одинаковой степени познали, что значит нелегкий путь подлинного искусства.

Слава к Булгакову пришла и рано -- со всеми ее сложностями -- и в то же время поздно, но тут я вынужден поставить точку -- это уже тема отдельного исследования, к нему я не готов.

Моя тема -- география. Я горжусь (и удивляюсь только, что до меня никто этого не сделал) своим открытием "дома Турбиных" и приглашаю всех, кто посетит Киев, спуститься вниз по крутому Андреевскому спуску до дома No 13, заглянуть во дворик (слева, под верандой, прошу обратить внимание на лестницу, это именно там у бедного Василисы по животу прошел холодок при виде прекрасной молочницы Явдохи), а затем подняться назад, через "рыцарский" дворик Замка Ричарда Львиное Сердце пробраться на горку, усестся на краю ее обрыва, закурить, если куришь, и полюбоваться Городом, который так любил Булгаков, хотя никогда больше в него не возвращался.

1 События? Какие "события? "Белая гвардия" -- роман, вымысел. А вот видите, какой вымысел, если я совершенно серьезно написал вышеприведенную фразу. И решил не трогать, не изменять, добавить только эту сноску.

2 Думаю, что не меньше, чем миллион. (За пятнадцать лет, с 1926 года по 1941 год, -- 987 представлений. На каждом не менее тысячи зрителей.)

Журнал "Новый Мир" No 8, 1967 год, стр. 132-142